



Война выходного дня

Роман Пустослов

Воин выходного дня

«Автор»

2026

Пустослов Р.

Воин выходного дня / Р. Пустослов — «Автор», 2026

Олег ехал на электричке в Подмосковье не за просветлением — за тем, чтобы хоть кто-нибудь сказал ему, как жить. В бывшем санатории «Сосновый кордон» его встретил дон Гена — человек в олимпийке, который говорил голосом тысячелетий и курил «Беломор».

© Пустослов Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

1. Объявление	6
2. Сосновый кордон	10
3. Снижение важности	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Роман Пустослов Воин выходного дня

1. Объявление



Эту историю я долго не решался записать, потому что её невозможно рассказать так, чтобы не выйти либо дураком, либо сектантом, а лучше всего — и тем и другим сразу. Но человек, научивший меня тому немногому, что я теперь умею, говорил, что страх показаться дураком — это последняя крепость важности, и пока ты её держишь, ты не свободен. Поэтому я её сдаю. Считайте, что перед вами дурак. Так нам обоим будет легче.

Я расскажу про два дня в Подмоскowie. Если бы кто-нибудь сказал мне за неделю до них, что эти два дня окажутся важнее предыдущих десяти лет, я бы вежливо отодвинулся, как отодвигаются в метро от человека, который слишком близко наклонился и слишком хорошо пахнет. У меня была своя жизнь, и она меня более-менее устраивала тем, что её можно было не замечать.

Я писал слова. Не книги, не стихи — слова, за которые платят. «Ваш день начинается с нас». «Больше, чем йогурт». «Свобода в каждом глотке» — это, кажется, про газировку, но точно не помню, потому что свободу я к тому времени продавал оптом и в розницу всему, что разливается в тару. Агентство называлось гордо, я приходил к одиннадцати, уходил в девять, и где-то между этими цифрами помещалась вся моя ценность для мира.

Год назад от меня ушла Марина. Точнее, ушёл я — из квартиры, — но ушла она, в том смысле, в каком уходит вода из чайника, который забыли на плите: сначала кажется, что ничего, ещё булькает, а потом ты подходишь, а там сухое раскалённое дно и запах горелого. Мы не ругались даже толком. Мы просто перестали быть интересны друг другу настолько, что это стало похоже на гигиену.

Осталась Соня. Восемь лет, передний зуб качается, читает вывески наоборот и смеётся. По договорённости — мои выходные. По факту — мои выходные всё чаще оказывались чужими дедлайнами, и я звонил Марине голосом, который сам ненавидел, и говорил: «Слушай, тут такое, давай я в следующий раз», и в трубке была пауза, в которой помещалось всё, что Марина обо мне думала и из вежливости не произносила.

Перед последним таким разговором Соня сплела мне браслет. Синий бисер, белый бисер, через один, на резинке, кривовато, с одним лишним узлом, который она называла «секретный». «Это чтоб ты не терялся», — сказала она и надела мне на запястье, а запястье у меня для её браслета было толстое, и он сполз, и я снял его и положил в карман пиджака. Там он и лежал. Я про него почти забыл. Это важно для дальнейшего — что я про него почти забыл.

Снотворное я начал пить весной. Не от бессонницы даже, а от того, что в три часа ночи мысли в голове выстраивались в очередь, как в советском гастрономе, и каждая хотела, чтобы её обслужили первой, и все были по поводу того, что я что-то делаю не так, но что именно — ни одна не говорила. Таблетка эту очередь распускала по домам. Утром я был как выстиранный и отжатый, но без очереди.

Листовку мне дала Жанна — не та, с которой я потом провёл эти два дня, а другая, из соседнего отдела, — у меня в той истории, как выяснится, было две Жанны, и обе сыграли роль, что само по себе уже намёк на устройство мира, но тогда я этого не понимал. Так вот, Жанна номер один положила мне на стол глянцевый листок и сказала: «Сходи. Тебе надо. У тебя лицо человека, который забыл выключить утюг ещё в девяностых».

На листке был нарисован орёл. Орёл сидел на горной вершине, под которой почему-то клубился туман в виде спирали ДНК, и смотрел вдаль с таким выражением, будто только что подписал выгодный контракт. Сверху шла надпись:

ВОИН ВЫХОДНОГО ДНЯ

Ниже, шрифтом помельче:

Тренинг трансформации. Снижение важности. Остановка внутреннего диалога. Управление реальностью. Древние практики толтеков, Трансёрфинг, дыхание силы, искусство сновидения. Два дня, которые перепишут вашу линию жизни.

И в самом низу, отдельной строкой, как приговор или как цена:

От 300 000 ощущений за один уикенд.

Я перечитал три раза. «От 300 000 ощущений». Не рублей — ощущений. Профессиональная часть меня, которая двадцать лет провела на передовой обмана населения, сняла шляпу. Это было гениально. Цифра, которая выглядит как цена, а оказывается щедростью. Ты ещё пугаешься, а тебе уже подарили. «От» — это вообще высший пилотаж: не «300 000», а «от 300 000», то есть потолка нет, бери сколько унесёшь. Я не знал тогда, что человек, который это придумал, совсем скоро будет уходить от меня пешком по железнодорожным путям, и что я буду стоять и смотреть ему вслед, не зная, кого я только что отпустил.

— И сколько это стоит уже в рублях? — спросил я Жанну.

— А вот это, — сказала она, — ты узнаешь, только если позвонишь. Там по телефону. Как в хорошем ресторане без цен в меню.

Я не собирался звонить. Положил листок в ту же стопку, куда складывал всё, что собирался сделать никогда: квитанции, визитки массажистов, приглашение на встречу одноклассников. Стопка эта была моим личным пространством вариантов, как я теперь понимаю, — все жизни, которые я мог бы прожить, аккуратно прижатые степлером к жизни, которую проживал.

Позвонил я в четверг.

Получилось это так. Я сидел вечером на кухне съёмной квартиры, в которой за полгода так и не повесил ни одной картины, потому что вешать картину означало признать, что я тут живу. Передо мной стояла тарелка с пельменями, которые я забыл посолить и теперь ел несолёнными из принципа — потому что встать за солью было бы поступком, а у меня не было сил на поступки. По телевизору кто-то кого-то разоблачал. За окном капал дождь, спокойный, методичный, как будто город сдавал какой-то длинный анализ.

И я подумал: всё. Не в смысле «всё, конец», а в смысле «всё, до самого края видно». Видно, как я завтра проснусь, выпью кофе, открою ноутбук, напишу про чью-то свободу в каждом глотке, в обед съем суп в столовой на минус первом этаже, вечером выпью, лягу, проглочу таблетку, распушу очередь по домам. И послезавтра то же. И через год. И этот пельмень несолённый — он будет всегда. Это была не драма. В драме хоть бывает больно. Это было хуже: это было ясно.

Я достал листок из стопки никогда. Орёл смотрел на меня всё с тем же выражением подписанного контракта. Я подумал: ну хорошо, допустим, развод. Триста тысяч ощущений или сколько там тысяч рублей. Допустим, шарлатаны, бубен, чакры, расставь ноги и почувствуй землю предков. Но что я теряю? Я уже всё знаю наперёд. А они хотя бы обещают, что я чего-то не знаю.

И тут со мной случилась первая в этой истории странность, от которой я тогда отмахнулся. Напрасно.

Я не мог решиться. Палец висел над зелёной кнопкой, и я не мог. И тогда я сделал то, чего не делал, кажется, с детства: я достал из кармана монету — десять рублей, с орлом, что я тоже потом расценил как намёк, — и сказал себе: орёл — звоню, решка — выкидываю листок и иду спать. Я подбросил. Монета упала на пол, закатилась под холодильник, и мне пришлось лечь на живот и шарить там рукой среди пыли и одной окаменевшей пельмешки, и когда я её наконец выудил, на ней был орёл.

Я позвонил. Молодой женский голос, очень спокойный, очень тёплый, сказал, что меня зовут, что место есть, что выезд завтра с Ярославского вокзала, электричка до платформы Сосновый Кордон, что брать с собой удобную одежду, тёплые вещи и «открытое намерение». Про цену в рублях голос сказал так, между прочим, тем же тоном, что и про тёплые вещи, и я, профессионал обмана, даже не успел испугаться — заплатил. По карте, сразу, без рассрочки, ту сумму, которую неловко называть, потому что на неё можно было свозить Соню к морю, и я об этом не подумал, и это, наверное, всё, что нужно знать обо мне на тот момент.

— Олег, — сказал голос напоследок, уже почти по-дружески, — а вы знаете, что вы уже начали?

— Что начал? — спросил я.

— Тренинг, — сказал голос. — Он начался в ту секунду, когда вы решились. Всё остальное — формальности.

И отключился. Я сидел с телефоном в руке, и впервые за долгое время мне было не скучно. Мне было страшно. И, к моему удивлению, это оказалось приятнее.

Наутро — в пятницу, когда по уговору начинались мои выходные с Соней, к которой я снова не поехал, — шёл тот же дождь, как будто и не прекращался, как будто город сдавал тот же анализ и всё никак. На Ярославском пахло вокзалом — этим бессмертным русским запахом беляша, креозота и чьей-то судьбы. Электричка до Сосново-как-его-там стояла на дальнем пути, синяя, в потёках, и я шёл к ней по платформе мимо людей, которые ехали на дачи копать, на рыбалку мёрзнуть, к матерям мириться, — мимо нормальных людей с нормальными целями, — и нёс в себе своё открытое намерение и триста тысяч ощущений, оплаченных безналом.

В кармане пиджака, я нащупал, лежал Сонин браслет. Синий через белый, с секретным узлом. Я зачем-то надел его на руку. Он опять сполз. Я оставил как есть.

В вагоне было холодно и почти пусто. Напротив сидела бабка с ведром, накрытым марлей, и под марлей кто-то время от времени возмущённо вскрикивал — то ли петух, то ли её собственная совесть. За окном поплыли гаражи, потом промзона, потом мокрые перелески, и Москва, я чувствовал, отпускала меня неохотно, как отпускает должника кредитор: вроде ушёл, но мы тебя помним.

Я не знал, что еду навстречу человеку, который объяснит мне, что должник и кредитор — это одно и то же, что петух под марлей кричит обо мне, и что выйти из электрички и выйти из своей жизни — в общем-то, одна и та же станция, просто никто не объявляет её заранее.

Объявили: «Следующая остановка — Сосновый Кордон». Голос в динамике был усталый и какой-то загробный, как будто его записали ещё при советской власти и с тех пор он ездил тут один, без поезда.

Я встал. Браслет снова сполз. Я сунул его обратно в карман — к секретному узлу, который ещё себя покажет, — и вышел в дождь.

2. Сосновый кордон



Платформа Сосновый Кордон состояла из самой платформы и больше ни из чего. Ни киоска, ни души, ни сосны, что особенно обидно при таком названии. Стоял только щит с названием — «СОСНОВЫЙ КОРДОН», белым по ржавому железу, — но краска облезла, половины букв не хватало, и название читалось с трудом, будто и оно тут не до конца прижилось. Дождь перешёл в ту мелкую морось, которая просто висит в воздухе, как недосказанность. Я стоял с сумкой и думал, что вот сейчас и проявится развод: никто не приедет, телефон я в порыве доверия не зарядил, и я поеду обратно в Москву обогащённый ровно на ту сумму, которую неловко называть.

Меня окликнули. У края платформы, там, где начиналась грунтовка в лес, стояла «Газель» — некогда белая, теперь цвета вокзального беляша, с тонированными задними стёклами и наклейкой на бампере, которую я сначала прочёл как «БОГ», а подойдя, разобрал: «БУДЬ ОСОЗНАН, ГРАЖДАНИН». У открытой двери стояла молодая женщина в дублёнке и с планшетом.

— Олег? — сказала она тем самым тёплым спокойным голосом из телефона. — Я Алёна. С прибытием. Садитесь, сейчас ещё одного дождёмся и поедем сонастраиваться.

Внутри «Газели» уже сидели трое и пахло хвойным освежителем, который борется с запахом человека и всегда проигрывает. Я поздоровался в пространство и сел. Напротив меня расположилась женщина лет сорока в идеальном спортивном костюме, который никогда не знал спорта, с лицом, натянутым на скулы силой позитивного мышления. Она представилась первой, потому что молчать ей, я сразу понял, было физически больно.

— Жанна, — сказала она и протянула руку с маникюром цвета достигнутой цели. — Эксперт по трансформации, нутрициолог, наставник женских марафонов. Это уже мой четвёртый ретрит в этом году, я просто чувствую, что мне надо донабрать вибраций перед запуском нового потока. А вы по какому запросу?

— По запросу несолёных пельменей, — сказал я.

Жанна посмотрела на меня с той секундной заминкой, с какой смотрят на иностранца, и решила, что это, видимо, юмор, и засмеялась — профессионально, на выдохе, как учат на тренингах по харизме.

Рядом с ней сидел крупный мужчина в чёрной куртке поверх свитера, с золотым крестом на груди и с выражением человека, который приехал проверить, не разводят ли его, и уже почти уверен, что разводят.

— Виталий, — сказал он. — Можно Виталик. Я тут, честно скажу, по настоящему супруги. Она говорит, у меня агрессия. А я говорю: какая агрессия, я просто вижу людей насквозь. Вот тебя, например. — Он посмотрел на меня насквозь. — Ты по жизни уставший.

— Угадал, — сказал я.

— Я всегда угадываю, — сказал Виталик удовлетворённо. — Это бесплатно. За остальное содрали как за хорошую свадьбу.

В углу, у самого окна, сидела пожилая женщина в вязаной кофте, с дерматиновой сумкой на коленях, и смотрела в окно с тем спокойствием, которое бывает только у людей, переживших несколько обменов денег и одну перестройку. Она поймала мой взгляд и улыбнулась.

— Светлана Борисовна, — сказала она. — Можно тётя Света, меня тут все так зовут, я уж привыкла. Я, голубчик, вообще-то по бухгалтерии всю жизнь. А приехала из-за внука. Кирюша у меня, четырнадцать лет, целыми днями в телефоне, ничего ему не интересно, глаза мёртвые. Я думаю: дай хоть сама пойму, чего им всем там не хватает. Может, и его потом свожу. — Она помолчала. — Хотя дорого, конечно. Я по тарифу «пенсионный», у них есть такой, со скидкой. Алёночка устроила.

«Пенсионный тариф на трансформацию сознания» — я записал это в той части головы, где храню удачные находки, и подумал, что человек, который это придумал, точно мой коллега по цеху.

Дождались последнего. Им оказался худой парень лет тридцати в очках и в куртке с надписью какой-то IT-конференции, с рюкзаком, в котором, я готов был спорить, лежал ноутбук, хотя в инструкции ноутбук был запрещён наравне с алкоголем и «закрытым намерением».

— Марк, — сказал он, садясь, и сразу достал блокнот. — Я тут, в общем, из любопытства. Я скептик. Я хочу понять механизм. Если это работает — должно быть объяснение. Если не работает — тоже интересно, как люди в это верят. Я записываю.

— Запишите первое наблюдение, — сказала Алёна, заводя «Газель». — Скептик, который заплатил, — это уже не совсем скептик.

Марк открыл рот, закрыл и что-то записал. Я понял, что мы с ним подружимся.

Был ещё шестой, но он сидел впереди, рядом с Алёной, и за всю дорогу не сказал ни слова. Немолодой, седоватый, в потёртой штормовке. Я видел только его затылок и иногда — в зеркале — глаза, которые ни на чём не задерживались и при этом всё, я чувствовал, видели. Звали его, как потом выяснилось, Слава. Больше про Славу я в тот вечер не узнал ничего, и это было самое интересное, что я про кого-либо узнал.

«Газель» нырнула в лес, потряслась минут пятнадцать по корням и лужам, и вынырнула к воротам, над которыми ржавела арка с надписью, где сохранилось «...АНАТОРИЙ "СОСН..."» и одинокая звезда. За воротами открылся он — «Сосновый кордон», бывший санаторий, ныне место силы.

Я много чего ожидал, но не этого. Главный корпус, трёхэтажный, сталинский, с колоннами и осыпавшейся лепниной, стоял, как старый актёр, который забыл роль, но не забыл осанку. Перед ним, посреди клумбы, заросшей лебедой, стоял гипсовый горнист — пионер с горном, поднятым к небу, без одной руки, отчего казалось, что он не зовёт, а сдаётся. Левее ржавели качели и грибок песочницы, под которым никто не играл лет тридцать. Из репродуктора на столбе тихо, с хрипом, шла песня — что-то про то, как «вода, вода, кругом вода», — хотя воды кругом не было, был лес.

Одно только не вписывалось в эту заброшенность. Чуть в стороне, у глухого торца корпуса, в тени стоял тёмный кроссовер — чистый, городской, дорогой, явно не отсюда. Мотор работал, из выхлопной тянуло сизым дымом; за рулём кто-то сидел и не выходил. Я скользнул по нему взглядом и решил: хозяин земли, проверка, начальство приехало пересчитать — мало ли. И забыл.

И через всё это, прихрамывая, к нам шёл человек.

Он был в синей олимпийке с белыми лампасами, с надписью «ДИНАМО» на груди, в спортивных штанах, заправленных в резиновые сапоги, и в этом наряде было что-то настолько противоположное орлу на горной вершине с листовки, что я сначала принял его за сторожа. У него было обветренное лицо, седая щетина, и в углу рта дымилась папироса — настоящий «Беломор», я узнал по запаху, который не спутаешь ни с чем, запах поездов и отцов. За ним трусила собака — рыжая, дворовая, с одним стоячим и одним висячим ухом, что придавало ей вид вечного сомнения.

— Приехали, — сказал человек, не здороваясь, оглядывая нас, как бригадир оглядывает шабашников. Взгляд у него был быстрый и какой-то взвешивающий, будто он не лица смотрел, а что-то за лицами. — Хорошо. Меня зовут дон Гена¹. Не Геннадий, не «а как по отчеству», а дон Гена. «Дон» — это не имя, это, понимаешь, позиция. Это значит, что я уже сошёл с ума по-вашему, и мне с этого хорошо, а вы ещё нет, и вам с этого плохо. За два дня будем выравнивать.

Жанна радостно заплодировала. Виталик хмыкнул. Марк записал.

¹ 1. Примечание БЛЭ. Весь толтекский инвентарь дона Гены перепродан со склада Карлоса Кастанеды: и самый титул «дон» (от дона Хуана Матуса), и «нагваль», и «точка сборки», и «перепросмотр», и «походка силы». «Маятники», «избыточный потенциал» и «снижение важности» — со склада Вадима Зеланда («Трансёрфинг реальности»). Наценки на товар, как и обещано в финале, не делалось. Пытливый ум сверится с первоисточниками и проверит сохранность пломб.

— Собаку зовут Нагваль, — продолжил дон Гена. — Не бойтесь, он не кусается, он сторожит границу. Только не кормите его со стола, он от этого теряет форму. Все мы от этого теряем форму, — добавил он непонятно и затаился.

Нас повели в корпус. Внутри пахло известкой, борщом и временем. Высокие потолки, широкая лестница с выщербленными ступенями, на стене — выцветшая мозаика, где мускулистые люди тянулись к чему-то лучистому, не то к солнцу, не то к плану по выработке. Нам выдали комнаты — мужчинам на втором, женщинам на третьем, — с панцирными кроватями, тумбочкой и графином. На сетке лежал полосатый матрас, тонкий и сбитый к середине, как все казённые матрасы на свете, а сверху — стопка белья: пододеяльник, простыня, наволочка, всё накрахмаленное до картонного хруста и при этом сыроватое, словно его сушили тут же, в нетопленном корпусе, и не досушили. Стелить полагалось самому. Я застилал и вспоминал, что последний раз заправлял казённую койку лет тридцать назад, в пионерлагере, и руки, оказывается, помнили: конверт, уголок под матрас. В графине была вода. На графине лежала бумажка: «ЖИВАЯ ВОДА. ЗАРЯЖЕНА НА УСПЕХ». Я понюхал. Вода как вода.

А потом случилось то, что я теперь считаю первым настоящим упражнением, хотя нам его и не объявили как упражнение.

Нас собрали в зале — бывшем кинозале с провисшим экраном и рядами откидных кресел, — и Алёна обошла всех с холщовой сумкой.

— Сдаём телефоны, — сказала она ласково. — И часы. Все часы. Это не каприз, это технология. Вы привыкли всё время знать, который час. Это и есть ваша несвобода. Время — самый старый и самый жирный маятник на земле. Два дня вы будете жить не по часам, а по жизни. Когда надо будет есть — вас позовут. Когда надо будет спать — вы захотите спать. Доверьтесь.

Тут стоит сказать про анкету. Записываясь на тренинг, каждый из нас заполнял на сайте «анкету намерения»: имя, возраст, «с каким запросом идёте», и в самом низу, мелким шрифтом, просьбу оставить ссылки на соцсети — «чтобы Алёна гармонично подобрала группу». Я проставил галочки не глядя. Только теперь, годы спустя, записывая это, я понимаю, что к нашим именам там подшивали всё, что мы когда-либо о себе выкладывали, — и что одни люди читают такие анкеты, чтобы подобрать группу, а другие — чтобы знать, за какую ниточку нас потом дёрнуть.

Зал заволновался. Жанна сдала телефон легко, видно, не впервые. Тётя Света замешкалась — у неё там, я понял, Кирюша на связи, — но сдала. Марк держался дольше всех, потом отдал с таким лицом, будто отдавал палец. Я отдал не глядя — мне звонить было некому, точнее, был один номер, но я в тот момент об этом не думал, и в этом «не думал» и состояла вся моя болезнь.

Виталик не сдал.

— Я телефон не отдам, — сказал он спокойно и веско. — Я не маленький. У меня объекты. У меня бетон завтра приходит. Я доверюсь, но телефон при мне.

И тут дон Гена сделал первое, что меня по-настоящему зацепило. Он не стал спорить. Он не стал убеждать. Он подошёл к Виталику близко, посмотрел на него — быстро, насквозь, как смотрят, когда уже всё решили, — кивнул, будто соглашаясь с чем-то, чего Виталик не говорил, и сказал негромко:

— Правильно. Не отдавай. Тебе ещё рано. — И отошёл.

Виталик остался стоять с телефоном в руке и с таким видом, будто его пожалели, и это было гораздо обиднее любого проигрыша. Через десять минут он подошёл к Алёне и отдал телефон сам. Я наблюдал за этим и думал: либо это очень тонко, либо случайно. И уже тогда, в первый вечер, понял, что в этом «либо-либо» и будет вся загвоздка следующих двух дней, и что разгадать её мне не дадут.

Первый круг был коротким. Мы сели в кружок прямо на пол, на маты, пахнущие пылью и чужими спинами. Рассаживались неловко, как рассаживаются взрослые, которых вдруг попросили сесть на пол: Жанна — прямо, по-йоговски, напоказ; Виталик — боком, оберегая колено и достоинство; тётя Света аккуратно подобрала кофту; Марк пристроил блокнот на колено, как тарелку. За окном уже стемнело, под потолком горела одна лампа, и в её жёлтом свете было видно, как изо рта идёт пар: топить тут, похоже, тоже считали важностью. Дон Гена сел напротив, поджав под себя ноги неожиданно гибко для своего возраста, и Нагваль лёг рядом, положив сомневающуюся морду ему на колено.

— Я не буду вам ничего обещать, — сказал дон Гена. И, помолчав, тут же нарушил обещание: — Хотя одно обещаю. К воскресенью каждый из вас хотя бы на пять минут перестанет быть собой. И когда вернётесь — то, к чему вернётесь, будет то же самое. Стол, жена, начальник, ипотека. Всё то же. А вы — другие. И вот это, — он обвёл нас папиросой, — самый честный развод на свете. Потому что снаружи я вам ничего не дам. Я вас просто на два дня отключу от вашего собственного электричества. А там уж смотрите, что без него видно.

Стало тихо. Даже Жанна молчала. Репродуктор за окном допел про воду и заиграл марш.

— А теперь спать, — сказал дон Гена и встал, кряхтя. — Завтра будем снижать важность. Это больно только в первый раз.

Ночью я лежал на панцирной кровати, которая подо мной играла, как гусли, и слушал лес. Лес шумел ровно, без слов, и в этом шуме не было очереди мыслей. Мысли не ушли — им просто некуда было встать. Я по привычке полез в карман куртки за блистером и вспомнил, что снотворное осталось в Москве, в ванной, на полке, рядом с зубной щёткой, которой я уже два дня не пользовался, потому что забыл, а зубы чистил пальцем.

Приготовился к плохой ночи. К очереди. К трём часам.

А вместо этого я нащупал в кармане пиджака, висевшего на спинке, Сонин браслет и зажал его в кулаке, как зажимают в детстве что-нибудь от страшного, и заснул так быстро и так глубоко, что не запомнил, как это случилось. Без таблетки. Впервые с весны.

Я тогда подумал — уже почти во сне, — что, если так пойдёт дальше, эти триста тысяч ощущений, может, и не самая дорогая ночёвка в моей жизни. Утром выяснилось, что подумал я рано. Но та первая ночь была честной. Её у меня уже не отнять.

3. Снижение важности



Будили нас не часами, которых не было, а Нагвалем, которого дон Гена запускал в коридор, и пёс ходил от двери к двери и совал нос в щель, и это оказалось эффективнее любого будильника, потому что от будильника можно отвернуться, а от живого носа, влажно сопящего тебе в темя, отвернуться нельзя.

Столовая была на первом этаже — длинный зал с колоннами, с лепным потолком, с которого местами обвалилась лепнина, обнажив дранку, как обнажает рёбра уважаемый, но обедневший человек. Столы стояли рядами, накрытые клеёнкой в мелкий цветочек. Пахло гречкой, хлоркой и тем общепитовским теплом, которое я не нюхал, кажется, с пионерлагеря и которое, оказывается, всё это время ждало меня где-то, как ждёт хозяина старая собака.

На раздаче стояла молчаливая женщина в белом колпаке и накладывала всем поровну: гречка, котлета непонятного происхождения, кусок хлеба, и — отдельно, на специальном столике — компот. Компот был налит в гранёные стаканы, мутно-розовый, с разварившимися сухофруктами, лежащими на дне, как маленькие утопленники. Я взял стакан, и холодное гранёное стекло легло в ладонь так знакомо, что у меня на секунду защемило где-то под рёбрами, где обычно не щемит.

— Гранёный стакан, — сказал дон Гена, проходя мимо с подносом, — есть высшая русская мандала. Двести грамм до риски, двести пятьдесят по края. Кто пьёт по риску — живёт в важности. Кто по края — в жадности. А воин пьёт сколько налито и не считает.

И налил себе компота по края.

Сели. Я оказался между Марком и тётей Светой. Марк ел и одновременно записывал, отчего в его блокноте, я подозреваю, оставались следы котлеты непонятного происхождения. Тётя Света аккуратно отделяла сухофрукты из компота и складывала на край блюда — «Кирюше бы», сказала она и осеклась, потому что Кирюши тут не было, как и телефона, чтобы про него вспомнить.

После завтрака — в зал. Маты, экран, провисший, как наша готовность. Дон Гена встал перед нами, заложив руки за спину, и я отметил, что в зале он двигался иначе, чем во дворе: медленнее, экономнее, будто берёт что-то.

— Важность, — сказал он. — Сегодня всё утро про неё. Запоминайте, потом не повторю. Важность — это когда ты надул шарик больше, чем надо. Любой шарик. «Я хороший специалист» — шарик. «Меня должны уважать» — шарик. «Я страдаю, и это что-то значит» — самый большой и красивый шарик, его все любят, его жалко колоть. А мир, понимаешь, он терпеть не может надутого. Он его уравнивает. Надул шарик «я самый умный» — получи дурака напротив, который тебя не понял, и мучайся. Это не наказание. Это физика. Маятник качнулся туда — качнётся обратно. Кастанеда это звал чувством собственной важности, Зеланд — избыточным потенциалом, а бабка моя в деревне звала «не выпячивайся, перед людьми стыдно». Одно и то же. У бабки только короче.

— А самооценка? — вскинулась Жанна. — Нас же учат повышать самооценку. Я веду марафон «Полюби себя за 21 день».

— Самооценка, — сказал дон Гена ласково, — это шарик, надутый специально, чтобы продать тебе насос. Двадцать один день качаешь, на двадцать второй сдулся, побежал за новым насосом. Хороший бизнес, не спорю. Я сам так раньше жил. — Он подмигнул. — Воину самооценка не нужна. Воин себя не оценивает. Оценивают товар. А воин не товар.

Жанна хотела возразить, но не нашла, чем, и записала вместо этого что-то в воображаемый блокнот, потому что настоящий у неё отобрали.

— Упражнение, — сказал дон Гена. — Первое. Называется «перестать оправдываться». Запомните: оправдание — это признание, что ты на суде. Стоит тебе начать объяснять, почему ты опоздал, почему не позвонил, почему ты вообще такой, — всё, ты подсудимый, а судья — кто угодно, хоть кассирша. Сегодня до обеда — никто не оправдывается. Что бы ни случилось.

Опоздал — «да, опоздал». Точка. Не «потому что пробки, потому что будильник, потому что я вообще-то...». Просто факт. Попробуйте. Вы удивитесь, как трудно.

Это оказалось правдой. Это оказалось чудовищно трудно.

Первой попалась Жанна. Дон Гена попросил её принести из коридора стопку матов, она пошла, уронила, маты разъехались, и она тут же, рефлексивно, на весь зал: «Ой, это потому что они скользкие, и я в носках, я просто...» — и осеклась, поймав себя, и покраснела так, что стало видно настоящий цвет лица под загаром позитивного мышления.

— Вот, — мягко сказал дон Гена. — Кому ты сейчас объясняла? Кто тебя судил? Никто. Ты сама притащила судью. Всегда таскаешь с собой, как пенсионерка табуретку в очередь.

Тётя Света на слове «пенсионерка» кивнула с пониманием.

Виталик слушал всё это с лицом человека, который ждёт, когда же начнётся настоящий развод. На предложение не оправдываться он сказал:

— Так я и так не оправдываюсь. Я мужик. Мне не перед кем.

— Хорошо, — сказал дон Гена. — Тогда скажи группе, зачем ты на самом деле приехал. Без «жена настояла».

Виталик открыл рот. И — я видел — внутри у него заработала машина оправданий, та самая, которой, по его словам, у него не было. Он сказал:

— Ну... жена... — поймал взгляд дон Гены, осёкся, помолчал, и вдруг сказал другим голосом, тише: — Сын со мной не разговаривает. Год уже. Я ему квартиру, я ему всё, а он трубку не берёт. Вот. Думал, может, тут чему научат, как с ним. — И сразу, испугавшись своей же открытости, грубо: — Хотя хрень это всё, конечно.

— «Хотя хрень» — это что было? — спросил дон Гена.

— Это... — Виталик подумал. — Это я шарик обратно надул. Чтоб не голым стоять.

— Способный, — сказал дон Гена группе. — Видали? Сходу. Бетонщик, а схватывает быстрее коучей.

Жанна обиделась за весь цех коучей, но промолчала, потому что обижаться — это, как мы уже понимали, тоже надувать шарик.

Дошло до меня. Дон Гена посмотрел на меня — будто снял показания и убрал в карман, — и сказал:

— А ты, городской. Ты весь в иронии, как в фольге. Это тоже важность, только наизнанку. Самый хитрый шарик: «мне на всё плевать». Его и колоть жалко, и держать стыдно. Скажи группе одну вещь, по которой ты до сих пор судишься. С кем-нибудь. Не объясняя, кто прав.

И вот тут со мной произошло то, ради чего, как я теперь думаю, всё это и затевалось, хотя в ту минуту я этого не понял, а только почувствовал, как изнутри поднимается давно знакомое, отрепетированное, готовое.

Я хотел сказать про Марину. Уже знал, как скажу: смешно, с фольгой, с самоиронией, так, чтобы группа засмеялась и чтобы под смехом было видно, какой я тонкий и как несправедливо со мной обошлись. У меня была заготовлена целая речь, я её прокручивал в три часа ночи месяцами, она была отшлифована, как галька: про то, как мы перестали быть интересны друг другу, про чайник, про сухое дно. Я открыл рот, чтобы выпустить эту гальку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.